

Лесков

Для сегодняшней беседы с вами в праздничный день нашей гимназии – я решил выбрать Лескова.

Если бы я выбрал Толстого, Тургенева, Лермонтова, – я мог бы не объяснять почему. Вы все так привыкли чтить эти имена рядом с подобными им другими – что ждали бы от меня только освещения какого-нибудь вопроса – нового, еще не затронутого, но самый выбор не возбудил никаких недоумений. Но почему Лесков? Разве это великий писатель. Чем он замечателен? И действительно, в нашем сознании с именем Лескова не соединяются наши представления, какие неизменно соединяются с именами Тургенева или Толстого, например. Имя Лескова известно очень смутно. Еще не так давно его смешивали с Лейкиным, теперь уже забытым автором бытовых анекдотов. В ряду всем известных приложений к Ниве его может быть соединяют с Данилевским или Станюковичем, писателями не лишенных дарований, отнюдь не классических. Чаще всего Лескова соединяют с Печерским. Лесковские «Мелочи архиерейской жизни» или «Соборяне» – для малоосведомлённого читателя легко смешиваются с изображениями быта раскольников у Печерского.

Такова несправедливость литературных судей. Печерский талантливый подражатель раскола – занимательный этнограф, но тоже не великий писатель. Лесков – один из величайших русских писателей. И такая именно оценка его все более, хотя и очень медленно, входит в нашу литературную критику. Все более оценивает Лесков как меткий наблюдатель, остроумный рассказчик, кажется, самый занимательный после Гоголя – как поэт подлинный, и еще выше того, как учительный.

Наконец, Лесков был одним из своеобразнейших людей в России – своеобразный ум, своеобразный мыслитель. Человек совсем особого сердцебиения – сердца, бывшего страстью к правде и страстью к русской жизни и русским людям, и вообще по жизни к людям.

И не думается, что я преувеличиваю, может быть, из желания поднять оценку того, что оценено недостаточно, или из каких-нибудь личных пристрастий. Лично мое пристрастие к Лескову таково же, как и ко всякому настоящему поэту. Его поэзия очаровывает и остроумием, и изяществом, с одной стороны, и внутренней силой и правдой всякого, кто способен поддаться очарованию этой беспокойной самобытной души, и выразившего ее – беспокойного и в то же время чеканного стиля – столь удивительного, не всегда простого, иногда очень манерного – но в такой остроумной манере, кажущейся грубой, а в сущности, – играющей лучами и любви к народу, и лукавой насмешки над его смешным и пошлым. – Вся эта стилистическая прелесть Лескова – труднодоказуема, – скажу только, что об ней судили в старину слишком элементарно, – в старину, когда вопросы стиля были на ущербе, когда художественными принципами было даже отсутствие стиля. – Лесков был не только любитель стиля, но фанатик его, теперь сказали бы – стилизатор. Только разница между большим числом современных

стилизаторов и Лесковым та, что особенность и даже нарочитость литературной манеры Лескова была игрой огромного и непосредственного дарования, своеволием большого мастера, а не проявлением художественного бессилия, чем очень часто в наши дни блещут те посредственные стилизаторы, все маленькое искусство которых сводится к воспроизведению какого-нибудь чужого стиля.

Лесков был большой человек и большой писатель. И его стиль, кажущийся стилизацией, – свой, ни откуда не взятый. Многие из наших современников не отрекутся – назвать его своим учителем. Пройдут года, и Лесков в общем сознании станет писателем классическим. Все в нем было свое, особенное – и все было в существе своем не мирное, а тревожное, беспокойное. Великий поэт давно идеализировал эту черту в русских писателях и назвал ее «святым беспокойством».

Было ли лесковское беспокойство – святым? О чем он беспокоился? Какая была святыня этой душевной тревоги – с той минуты, когда он стал писателем – и до последней минуты – минуты его смерти, когда у него внезапно выпало из рук перо. Он начал писать поздно, лет 30 – и писал в течение 35 лет без перерыва. Последнее полное собрание сочинений во многих томах все еще не полное. Он написал еще больше. И все написанное им неровное по художественному достоинству – проникнуто одним духом. Тем духом, которым проникнута вся великая наша литература, развиваясь в течение теперь уже прошлого века, – XIX. Духом правды. – Той человеческой правды, которая и есть правда бытия. И кто этого не видел в Лескове, тот сам был глух для этой правды. А в Лескове это видели два наших пророка – и Достоевский, и Толстой.

Художественные воззрения Лескова на жизнь русских людей определяется тем, что он искал среди них *праведников*. «Без трех праведных несть граду стояния» – вычитывает он в Библии эпиграф к предисловию книги, так и озаглавленной «Праведники».

В этом коротком предисловии Лесков передает разговор, бывший у него с «одним большим русским писателем» – судя по всему – с Писемским. Лесков упрекнул Писемского в том, что он изображает людей – «один другого хуже и пошлее». Писемский ответил: «По-вашему, небось, все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости...»

– Это у вас болезнь зрения.

– Может быть, – отвечал, совсем обозлясь, Писемский, – но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзостей, не вижу...

На этом два писателя расстались. Но Лесковым овладело от слов Писемского: «лютное беспокойство»: «Как, – думал я, – неужто, в самом деле, ни в моей, ни в его, и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, – одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной

дряню, которая живет и в моей, и твоей душе, мой читатель? Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число праведных, без которых “несть граду стояния”...» Не устоять целой земле...

Кто же эти праведные? Есть ли они? Где они? Это не герой в истории – не избранники человечества, направляющие исторические пути, как думали вслед за немцами два великих англичанина, но те люди, которые, стоя в стороне от главного исторического движения, сильнее других делают историю. Эти слова историка Соловьева – народная точка для Лескова.

Делатели истории – сильнейшие сильных, хотя и стоящие в стороне. Это пушкинская мысль, вложенная в идеализацию Гринева и Маши Мироновой. Это тот же бунт Толстого против культа всех больших и малых Наполеонов – за «мирных» людей, частных, в стороне стоящих – делающих внутреннюю историю страны. Не извне, пускай и принудительных волн, а изнутри органических потребностей и побуждений людей, презрительно названных немецкими романтиками филистерами, а русскими последователями романтиков – обывателями.

Лесков отправился искать праведных среди обывателей, среди людей заурядных, незаметных.

Не видеть, не найти среди них героев – «болезнь зрения».

Первые шаги в поисках Лескова были неудачны. В начале 60-х годов современнику трудно было разобраться – что праведно и что неправедно. Тайна русского нигилизма, над разгадкой которой бились такие зрячие – отнюдь не больные зрители, как Тургенев, Гончаров – и сам Достоевский – едва ли тогда была разгадана. Едва ли она была признана во всем ее значении и самими носителями ее. Достоевский первый углубил тему нигилизма в Раскольникове, но в то же время перенес ее в область мистическую, распространив ее до неузнаваемости. В «Бесах» Достоевский страшно ошибся – но в то же время что-то гениально понял.

Тургеневский Базаров стал предметом разбора среди самих нигилистов, Гончарова высекли за Марка Волохова. Лесков – запутался в оценке нигилистов, начиная первым романом об них «Некуда» и кончая «Соборьями». Он потом сам сознавал, что запутался. Праведные были нигилисты или неправедные – т. е. русские революционеры, державшиеся в своей философии – позитивизма, а в морали – утилитаризма? Лесков осуждал их. Ему были чужды тогда их воззрения, и он пугливо относился к тем, кто их держался. И между тем, что-то ему в них нравилось, что-то в них влекло его к ним. Так, как никогда никого из их судей. Может быть, он разгадывал сущность русского нигилизма, как никто в его время – именно потому, что он во всем искал праведности. Он разгадывал за их философией и моралью, за их иногда очень неуклюжими действиями – искание правды и любовь к людям. Он видел эту праведность – в самых заурядных и незаметных из них. Он не отрицал ни Чернышевского, ни Добролюбова. Но он озлоблялся на гениальничанье мелких лицемеров, ни правды не искавших, ни людей не любивших. Он озлоблялся на их неправедность... А в озлоблении нет никогда

полной правды, потому что оно ослепляет, – дает «болезнь зрения». И Лесков запутался в оценке целой эпохи, отразившейся в трех его больших романах, самых слабых из всего им написанного.

Тот инстинкт, с которым Лесков потом искал праведных – и который бунтовал в нем при столкновении с нигилистами, – был несовместим с их философией. Это был инстинкт, хотя еще и смутно переживаемый, но явно – религиозный.

Лесков рассматривает в одной из многих своих повестей-мемуаров – в «Юдоли», как в голодовку 40-х годов, вызвавшую злую холеру, – тетя Полли (одна из праведников) с ее неразлучным другом англичанкой Гильдегардой – обе сектантки-квакерши, устраивали помощь и голодающим, и больными, одни только не растерявшись, – а вечерами после всей тяжелой и опасной работы за долгий день – вдвоем молились. Они стояли, обнявшись, перед открытым окном, «в которое смотрелось небо, усеянное звездами» – и пели простодушную сектантскую песню:

*Таков как есть, – во имя крови,
За нас пролитой на кресте,
За верой, зреньем и прощеньем,
Христос, я прихожу к Тебе.*

«Я был поражен и тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил мое понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость оттого, что всякий человек сейчас же, “*таков как есть*”, может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. *И мне казалось, что как будто, когда они тронулись к Нему “за верой, зреньем и прощеньем”, и Он тоже шел к ним навстречу, Он подавал им то, что делает иго его благим и бремя его легким...*

О, какая это была минута! я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом, и свет этот плывет сюда прямо со звезд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня мое сердце, а в то же время все мы – и голодные мужики и вся земля – несемся куда-то навстречу мирам...».

Христос, идущий навстречу людям, – вот религиозная тема рассказов Лескова – с тех пор, как эпоха смутившего его нигилизма уходила в прошлое, и он все спокойнее и увереннее искал праведников. Это было уже в 70-х годах – когда умственные настроения всего общества или прямо направлялось к религиозным идеям Достоевского, Вл. Соловьева, Толстого или же в среде самих нигилистов происходили такие движения, которые давно изумляют историков общества – своим наружно чисто общественным, народническим характером, а внутренне – тоже, как не раз уже говорилось, – религиозным. А именно массовое хождение русского юношества в народ, в самом своем

душевном побуждении, в том экстазе, с которым оно совершалось, – вызывает *иногда* смешанное определение революции и религиозности.

Та любовь великая, которой были проникнуты русские юноши и девушки, ушедшие в это движение, – напоминали нечто древнехристианское. Атеисты в умах, верившие в Бога, – на самом деле. Но и этого Лесков не увидел. И здесь сказалась «болезнь зрения». Как не увидели этого – ни Достоевский, ни Толстой.

И все же, сами того не сознавая, шли к тому же пониманию правды человеческой – правды Божьей. Шли и отрицали. Искали и не находили. Мучились непониманием – и не понимали. «Болезнь зрения».

Достоевский искал Христа, живой любви – среди людей и намекнул на это в образе кн. Мышкина, но так изысканно, что и до сих пор эта художественная тайна Достоевского не всем очевидна. А увидав людей, обуянных любовью к людям, не заметил среди них никого, – кроме «Бесов». Так и Лесков. И с тем большей страстью стал он искать праведных в другой среде – в других полосах русской жизни.

Мистицизм Лескова питался только отчасти и случайно – сектантскими выступлениями. Гораздо сильнее было на него влияние церковное и монастырское. В семье полудуховного происхождения были сильны православные вкусы. Лескова тянуло и к старообрядчеству. В эпоху нигилизма – против нигилистов Лесков готов был сочувственно ставить идеал монастырского быта, православного благочестия. Тогда он очень близко подходил к славянофильству и собственно, сливался с ними. «Соборяне» самое поэтическое выражение этой связи, – высшая идеализация православия.

Умственное развитие Лескова почти не изучено, и мы не знаем, как произошла ссора Лескова с православием. В старообрядчестве, которым он готов был увлечься, его во всяком случае оттолкнула не столько формальная верность букве, сколько – еще шире, вообще, *несвобода духа*.

«Дух веет, где хочет», – он любил эти слова. «У всех напоенных одним духом должно быть одно разумение жизни», – вот другие слова, которые он знал также твердо. Одно разумение жизни – везде, где веет свободный дух.

Мы не знаем с точностью, как это произошло в подробностях, но Лесков становится, когда в 80-х годах началось властительное *влияние* Толстого, – толстовцем. Толстовцем в широком смысле. Лесков не расширял понятие праведности. Он уже боится национализма, – т. е. ограничения праведности пределами России, русского быта и русского идеализма, как это в особенности сказалось еще до «Соборян» в сказочной красоте «Очарованного странника». Он все чаще выбирает для своих рассказов инородцев, иностранцев, сектантов.

Если он когда-то отказал в праведности нигилистам, теперь он готов искать ее повсюду, – где есть та любовь, которая названа совершенной и изгоняющей всякий страх.

Он все дальше уходит из границ какого-бы ни было консерватизма – и с возмущением жалуется, что его либерализм чистой воды не поняли, не разгадали. Отношение его к Толстому, – влиянию которого он отдается, уже склоняясь к старости, безмерно трогательно – и безупречно. Тем безупречнее

и бесспорнее, что «толстовство» Лескова, кажется, нет сомнения, предшествовало толстовству самого Толстого. Но он, упрекаемый со всех сторон и в лукавстве, и неискренности, и в тщеславии, – говорил о своем отношении к Толстому в таких возбужденных словах: «Когда писал Толстой Анну Каренину, я уже был близок тому, что теперь говорю... Я уже копал ту кучу, которую стал и Лев Николаевич копать. Но только у него свет ярче, и я пошел за ним со своей плошкой. У него огромный факел, а у меня мерцает маленькая плошка... Я и тороплюсь за ним! Тороплюсь! Разве это худо, что мы на старости лет заговорили о праведной жизни... О, я радуюсь, что могу идти в настоящее время за Львом Николаевичем, не оглядываясь на прошлое и не укоряя себя им... Знайте, что идеи Толстого каждого уже сделали лучше, чем он был до него! А кто посерьезнее обратится к ним, тот и совсем будет *неспокоен в своей яме* до той поры, пока не вылезет из нее...».

Относясь к Толстому с таким коленопреклонением, что не позволяло даже хвалить его, – до того Толстой стоял для него выше всяких восхвалений, – он относился, однако, и к толстовству свободно. Толстой был для него, как он выражался «священник Бога вышнего», – но в том и была для него правда толстовского бога, что это была правда свободная.

И Лесков часто не соглашался с отдельными мнениями Толстого и радовался спору с ним Вл. Соловьева. Он верил не столько в толстовство, сколько в самого Толстого, в его праведность, праведность его великого искания. Он не понимал идеи как таковой, идеи, взятой отвлеченно.

«Идеи, которые некому осуществлять, скверные идеи», – заметил он в одном разговоре.

И он готов был преклониться перед всяким – и великим и малым, чья идея есть его кровь и плоть, а не отвлеченные соображения, кто способен хоть на одно короткое мгновение поступить праведно. «Знаете, кто был у меня сейчас... перед вами? Третий Иванович Филиппов». Таким возмущением встретил Лесков одного из своих постоянных посетителей на пороге своей квартиры. (Чтобы вы оценили все характерное значение того, о чем рассказал при этом Лесков, укажу на то, что Филиппов – один из его бывших друзей в эпоху борьбы с нигилизмом, с которым он круто разошелся и никогда не встречался, не кланялся. Друг Победо<но>сцева. По должности – государственный контролер. По убеждениям представитель самой определенной реакции. Лесков – уже толстовец, отряхнувший уже давно прах ото всех консервативных порывов(?). Лесков возбужденно продолжал свой рассказ так:

– На пороге этой комнаты он стоял и говорил: вы меня примете, Николай Семенович?

– Ну, и вы виделись?

– И мы виделись... Я сказал ему: прошу, войдите в комнату. – И тотчас же сам стал посредине кабинета, не делая ни шага к нему навстречу.

Лесков изобразил позу, в которой он стоял у себя кабинете и ждал Т. И. Филиппова, пока прислуга помогала последнему раздеваться в передней:

– Я, – продолжал он, – не знал, чем объяснить этот визит и как мне себя держать, и что говорить с государственным контролером. Он вошёл в кабинет и, приблизившись ко мне, сказал: “Я пришёл к вам, Ник<олай> Сем<ёнович>, мириться... Я прочитал вновь ваши произведения, и меня вдруг потянуло к вам. Сегодня прощёный день, и если я чем виновен перед вами, то простите меня. Если уже мириться, то мириться по-настоящему”... Он вдруг опустился на колени вот здесь, посреди этого самого кабинета... Да, представьте мое положение?! Я, впрочем, – продолжал Лесков, – быстро сделал то же самое... Мы обнялись, поцеловали друг друга и заплакали. Я уже не помню, как мы сели за письменный стол. Но я был счастлив...» И затем Лесков рассказал, как они сидели за столом, на котором стояли портреты Гладстона, Л. Толстого, Дарвина и снимки с картин Ге. («Ведь ему, т. е. Филиппову все они противны!»), и как они не знали, о чем говорить, и как потом все-таки хотя и трудом разговорились, поспорили... «Я очень взволнован его визитом и рад, – заключил Лесков свой рассказ. – По крайней мере, кланяться будем на том свете»... И через несколько слов прибавил: “Ведь сколько *там* встреч ожидает нас, и какие интересные встречи...”». Этот разговор произошел за несколько дней до смерти Лескова, тихо уснувшего навеки 21 февраля 1895 г<ода>.

Лесков верил в эти встречи *там*, в «поклоны» на том свете, в тот свет – с такой силой простодушия, как будто речь шла о чем-то географическом. И с такой же силой простодушия он верил и в этот свет – как место, где совершается религиозная жизнь, а не просто жизнь. Искание праведников разрешилось к концу жизни Лескова – в ожидание Христа здесь, на земле, среди людей. Как будто вот сейчас откроется дверь, и он войдет, и станет между нами.

У Лескова есть прекрасный рассказ «Христос в гостях у мужика», почему-то не перепечатанный в собрании сочинений, очень напоминающий народные рассказы Толстого.

Это и есть та вера, к которой Лесков пришел. Ожидание встречи с Христом. Встречи с любовью, воплощенной в жизни, хотя бы в самом обыкновенном и незаметном житье, быте, хотя он на одно неуловимое мгновение «Где любовь, там и Бог», как озаглавлен один из народных рассказов Толстого на подобную тему.

В поздней повести «Скоморох Памфалон», написанной с классическим мастерством, – пустынною Ермию, убежавшему от соблазнов жизни и замуровавшему себя в скале, – противопоставлен жизни скоморох Памфалон, зарабатывающий себе деньги кривляньями перед пьяными и развратными людьми. Но он христианин по убеждениям и мечтает о том, как он на свой шутовской заработок когда-нибудь купит участок земли, чтобы начать чистую жизнь. Но каждый раз, когда мечта его бывала уже близка к исполнению, он пожалеет кого-нибудь и отдает последние деньги для спасения другого и опять тянет свою шутовскую лямку. С кем Христос? – спрашивает Лесков. Кто встретился с Христом, тот, кто встретился с благочестивым Ермием или со скоморохом Памфалоном? И Лесков со страстью отвечает: кто встретился со

скоморохом Пмфалоном, тот встретился с самим Христом. Это и значит Христос в гостях у мужика.

В повести «На краю света» – встреча с Христом произошла в жизни православного архиерея, миссионерствовавшего среди сибирских инородцев и готового принудительно обращать их в христианство, – так тупо противились они его проповеди. Но Христос-то и оказался *среди них, не способных к обращению в христианство*. Тупой представитель низшей расы в решительную минуту спасает миссионера-архиерея, который был для него врагом, – врагом всей его глухой свободы и всех его неподвижных привычек, – когда архиерей чуть не погиб в морозной тундре.

Враг-язычник спасает врага-христианина ценой своей жизни. Все это рассказано Лесковым с силой и изяществом – необыкновенными. И я не буду передавать повести во всех ее чарующих чертах, чтобы вы сами ее прочли, может быть, вернувшись домой. – Мысль, кажущуюся фантастической выдумкой, невероятностью, поэтическим бредом, – встреча с Христом, нагляднее всего и убедительнее взята в рассказе «Томление духа», написанного Лесковым для детского журнала. Здесь на нескольких страницах основная тема Лескова достигает точной иллюзии евангельского события. На этой притче или, как любили выражаться о Лескове его критики, «анекдоте» – реальной встрече с Христом я и закончу свою речь. Христос является в ней на одно мгновение в самой будничной и повседневной среде – мелькнул и ушел, но, уходя, обещал прийти еще...

Если это анекдот, то на величайшую из всех тем, что правда человеческая – бессознательно для людей есть правда Божья. Что жизнь людская несознанно для них самих есть жизнь религиозная.

Что Бог любви всегда может оказаться среди нас. Такое неожиданное явление и представлено у Лескова на этот раз, как это ни дико звучит, – в образе немца-гувернера Ивана Яковлевича, прозванного смешной кличкой – Коза...

Ив<ан> Як<овлевич> Коза возмутился на то, что дети совершили одно из нередких детских преступлений, они съели в саду запретные сливы, и не только не сознались в своем преступлении, но поклялись не выдавать друг друга. Из-за них был наказан дворовый мальчик, с испугу принявший вину на себя. Его высекли. Один из виноватых не выдержал уговор молчать – и признался Ивану Яковлевичу. – Тогда Коза, страшно возмущенный, подошел к губернаторше, гостившей в доме, сын которой и был главным виновником, и наговорил ей дерзостей, предсказав дурную будущность ее сыну. Губернаторша упала в обморок – и немца выгнали. А дети побежали за ним вслед на дорогу – догнать его и проститься, узнав, что он, забрав свой узелок, пошел пешком.